# Болгарская поэтесса

# Джон Апдайк

— Ваши стихи. Они трудные?

Она улыбнулась и, непривычная к английской речи, ответила с расстановкой, изящно сжимая двумя пальчиками воображаемое перо и выводя в воздухе строку:

— Их трудно... писать.

Он рассмеялся, застигнутый врасплох и очарованный ее ответом:

— Но не читать?

Его смех, казалось, озадачил ее, но улыбка не сошла с ее лица, хотя уголки губ по-женски укоризненно поджались.

— Думаю, — сказала она, — не очень.

— Хорошо. Хорошо, — повторял он машинально, обезоруженный высокой пробой ее искренности. Он и сам был писателем — этот сорокалетний молодой человек по имени Генри Бек, с редеющими курчавыми волосами и унылым еврейским носом, автор одной удачной книги и еще трех, причем удачная появилась на свет первой. По какому-то недосмотру он так и не женился. Его авторитет крепчал, а силы убывали. Бек чувствовал, что в своих произведениях он идет ко дну, все глубже увязая в эклектичной сексуальности и безудержном самолюбовании, в то время как поиски истины увлекают его дальше, в зыбкие, коварные сферы фантазии, а с недавних пор и молчания. Его все неотступнее преследуют почестями, донимают прямолинейным толкованием и высокомерным обожанием — студенты готовы мчаться за тысячи миль автостопом, лишь бы коснуться его руки. Его допекают ворчливые переводчики, ему докучают избранием в почетные общества, приглашениями на лекции, «беседы», «чтения», подбивают на участие в симпозиумах, затеваемых дамскими журналами в бесстыдном сговоре с респектабельными университетами. Даже собственное правительство, в конвертах, самонадеянно посланных без марок из Вашингтона, приглашало его отправиться в путешествие в качестве посланника культуры и искусства на другой край света, враждебный и загадочный. Довольно машинально он соглашался в слабой надежде встряхнуться, сбросить обузу, каковой он сам для себя являлся, и оказывался в самолетах, приземлявшихся в мрачноватых аэропортах коммунистических городов, с паспортом, разбухшим от виз так, что сам распахивался, как только его доставали из кармана.

Он прибыл в Софию на следующий день после того, как некие болгарские и африканские студенты совместными усилиями перебили окна американской дипломатической миссии, перевернули и сожгли «шевроле». Культурный атташе, бледный после бессонной ночи, проведенной на дежурстве, нервно выбивая свою трубку, посоветовал Беку держаться подальше от людных мест и проводил до гостиницы. Вестибюль кишел неграми в черных шерстяных фесках и остроносых европейских туфлях. Чувствуя себя неуютно в своей купленной в Москве каракулевой шапке, Бек прошел к лифту. Лифтер заговорил с ним по-немецки.

— Ja, vier, — ответил ему Бек. — Danke.

Затем он позвонил, на ломаном французском заказал себе ужин в номер и провел весь вечер взаперти, за чтением Готорна[[1]](#footnote-1). В миссии с подоконника, усыпанного битым стеклом, он подобрал сборник рассказов. Из книги на подушку выпало несколько крохотных сверкающих осколков. Его испугал образ умирающего Роджера Мэлвина[[2]](#footnote-2), одиноко лежащего в лесу: «Смерть будет подкрадываться к нему медлен­но, от дерева к дереву, пока он не увидит вблизи ее трупный оскал». Бек лег спать рано и маялся во сне от разыгравшейся тоски по дому. Был первый день Хануки[[3]](#footnote-3).

Утром, спустившись к завтраку, он удивился, обнаружив ресторан открытым, официантов приветливыми, яйца настоящими, а кофе горячим, хотя и приторным. Снаружи София была залита солнцем и (если не считать нескольких мрачных взглядов, брошенных на его большие американские ботинки) располагала к прогулкам. Городские клумбы были засажены ромбами из анютиных глазок, выглядевших сплющенными и ломкими, словно засушенные под прессом цветы. Женщины, не лишенные западного шика, прогуливались без шляпок по парку за мавзолеем Георгия Димитрова[[4]](#footnote-4). Была еще мечеть, несколько троллейбусов, вызванных из самых отдаленных уголков памяти его детства, и говорящее дерево — на его ветвях сидело столько птиц, что оно раскачивалось под их тяжестью, щебетало и чирикало, словно большущий одетый в листву громкоговоритель. Совсем иначе было в гостинице, в безмолвных стенах которой, видимо, таились «жучки». Электричество в мире социализма обладало загадочными свойствами. Свет зажигался сам собой без прикосновения к выключателю, радио включалось само по себе. Телефоны звенели в ночи, и кто-то бессловесно дышал ему в ухо. Шесть недель назад Бек летел из Нью-Йорка в предвкушении того, что Москва окажется его двойником, залитым светом, а вместо этого увидел в иллюминаторе горстку огоньков на бескрайней черной равнине, светивших не ярче девичьего тела в темной комнате.

Американская миссия находилась за говорящим деревом. Тротуар, усыпанный битым стеклом, был огорожен канатом, и пешеходам приходилось сходить на обочину. Бек отделился от потока прохожих, пересек узкую полосу мертвого тротуара, улыбнулся болгарским милиционерам, угрюмо охранявшим алмазные россыпи, и отворил бронзовую дверь. После нормального ночного сна культурный атташе выглядел бодрее. Не вынимая изо рта трубки, он подал Беку небольшой список:

— В одиннадцать у вас встреча в Союзе писателей. Вот имена писателей, с которыми вы можете попросить встречи. Насколько нам известно, они из наиболее прогрессивных.

Слова «прогрессивный» и «либеральный» здесь, в этом мире, имели несколько противоположный смысл. Временами Беку и в самом деле казалось, будто он попал в зазеркалье, по ту сторону тусклого, засиженного зеркала, в котором слабо отражался капиталистический мир; в его мрачных недрах все было почти такое же, только с уклоном влево. Одна из фамилий оканчивалась на «-ова».

— Женщина, — заметил Бек.

— Поэтесса, — сказал культурный атташе, в порыве напускной деловитости то потягивая трубку, то вытряхивая ее. — Очень популярная, по всей вероятности. Ее книг не купить.

— Вы читали что-нибудь из написанного этими авторами?

— Буду с вами откровенен. Меня хватает лишь на то, чтобы одолеть газету.

— Но вы и так знаете, что в ней пишут.

— Извините, не понял смысла ваших слов.

— Его и нету.

Бека подсознательно раздражали американцы, с которыми приходилось встречаться, то ли из-за их упорного нежелания иметь что-либо общее с этим сумеречным миром, то ли оттого, что они с важным видом посылали его исполнять нелепые поручения.

В Союзе писателей Бек вручил список секретарю — в том виде, в котором он его сам получил, на посольском бланке. Секретарь, грузный сутулый мужчина с руками каменщика, поморщился и покачал головой, однако потянулся к телефону. В соседней комнате Бека уже дожидались. Это было обычное мероприятие, из тех, в которых Бек участвовал в Москве и Киеве, Ереване и Алма-Ате, Бухаресте и Праге, с небольшими различиями: полированный овальный стол, ваза с фруктами, утренний свет, сверкающие стаканы с бренди и минеральной водой, портрет подглядывающего Ленина, шесть или восемь смиренно сидящих мужчин, которые проворно вскакивали с молниеносными пустыми улыбками. Среди них встречались чиновники от литературы, именуемые «критиками», на высоких партийных должностях, словоохотливые и остроумные, — им полагалось поднять тост за международное взаимопонимание; несколько избранных романистов и поэтов, с усиками, покуривали, недовольные посягательством на их время; университетский профессор, завкафедрой англо-американской литературы, который прекрасно изъясняется на увядшем английском языке Марка Твена и Синклера Льюиса; молодой толмач с влажной ладонью; нечесаный пожилой журналист, услужливо строчащий в блокноте, а на стульях с краю (признак того, что они сами напросились в гости) ерзают один-два вольных переводчика без галстуков, непонятно в каком качестве присутствующие, — единственные, как выяснялось, кто прочитал хотя бы слово из написанного Генри Беком.

Здесь эту последнюю категорию представлял полноватый человек в твидовом пиджаке с кожаными заплатами на локтях на английский манер, с налитыми кровью глазами. Он энергично потряс руку Беку, превратив рукопожатие чуть ли не в объятия после разлуки, и настолько приблизил свое лицо, что Бек учуял запахи табака, чеснока, сыра и выпивки. Даже когда они усаживались за стол и председатель Союза писателей, с изящной лысиной и белесыми ресницами, потянулся к стакану с бренди, словно собираясь поднять его, красноглазый выскочка взбудораженно ляпнул Беку:

— Ваш роман «Путешествие налегке» — великолепная книга. Мотели, шоссе, молоденькие девушки с любовниками-мотоциклистами — все это так замечательно, так по-американски; юность, восхищенность пространством и скоростью, дикость неоновых реклам и поэтичность поистине переносят нас в другое измерение.

«Путешествие налегке» был его первый знаменитый роман. Бек не любил его обсуждать.

— У нас в Америке, — сказал он, — его критиковали за безысходность.

От изумления его собеседник всплеснул руками в оранжевых табачных пятнах и звонко хлопнул ими по коленям:

— Нет, нет и тысячу раз нет. Правда, удивление, ужас, даже вульгарность. Но безысходность — ни в коем случае, ни на йоту. Ваши критики глубоко заблуждаются.

— Благодарю.

Председатель кашлянул и приподнял свой стакан на дюйм, так что его тень стала похожа на игральную карту.

Поклонник Бека все не унимался:

— Вы не влажный писатель, нет. Вы сухой писатель, да? У вас есть такое выражение, если я не ошибаюсь, в английском, сухой, жесткий?

— Более или менее.

— Я хочу вас переводить!

Это был отчаянный вопль приговоренного, ибо председатель хладнокровно поднял стакан на уровень глаз, и, как расстрельная команда, все остальные последовали его примеру. Моргая блеклыми ресницами, председатель вперился затуманенным взглядом во внезапно воцарившуюся тишину и заговорил по-болгарски.

Молодой толмач забормотал Беку на ухо:

— Теперь я хочу предложить, мм, очень короткий тост. Я знаю, он покажется вдвойне кратким нашему американскому гостю, который недавно имел удовольствие познакомиться с гостеприимством советских товарищей.

Тут, должно быть, крылась какая-то шутка, потому что все расхохотались.

— Но, если серьезно, позвольте мне сказать, что за последние годы в нашей стране мы встречали очень мало американцев, мм, таких же прогрессивных и сочувствующих нам, как мистер Бек. Надеемся за этот час узнать от него много интересного и, мм, социально значимого о литературе его необъятной страны, а мы, возможно, расскажем ему о нашей гордой литературе, о которой он знает, наверное, до обидного мало. Мм, и поскольку, как говорится, долгие ухаживания вредят женитьбе, разрешите мне, наконец, предложить выпить нашего бренди, *сливовицы*, мм, во-первых, за успех вашего визита, а во-вторых, за укрепление международного взаимопонимания.

— Спасибо, — сказал Бек и в знак благодарности осушил свой стакан, чего делать не следовало: остальные всего лишь пригубили свою выпивку и уставились на него. У него в желудке закрутилось лиловое жжение, и в крайнем отвращении к самому себе, к своей роли, ко всей этой надуманной и зряшной затее он сосредоточился на буром пятнышке на груше, столь демонстративно выставленной в вазе у него под носом.

Воняющий сыром остолоп с красными глазами подсластил тост:

— Для меня лично — великая честь встретиться с человеком, роман которого «Путешествие налегке» поистине придал американской прозе новое измерение.

— Книга была написана, — сказал Бек, — двенадцать лет назад.

— А с тех пор? — Какой-то неуклюжий усач приподнялся и разразился речью на английском. — Что вы написали с тех пор?

Этот вопрос часто задавали Беку в последние недели, и у него наготове был краткий ответ:

— Второй роман «Братец Свинтус», так Святой Бернард называл тело.

— Хорошо. Да, и?

— Сборник эссе и очерков «Когда святые маршируют».

— Это заглавие мне меньше нравится.

— Это первая строка известной негритянской песни.

— Мы знаем ее, — сказал другой человек, поменьше, с редкими и торчащими, как у зайца, зубами, и напел: «И я хочу быть в их числе, Господи».

— И последняя книга, — продолжил Бек, — длинный роман «Избранные», на которую я убил пять лет и которая никому не понравилась.

— Я читал отзывы, — сказал красноглазый. — А книгу нет. Здесь ее трудно достать.

— Я дам вам экземпляр, — произнес Бек.

От этого обещания будущий счастливый обладатель книги, как назло, не по чину заважничал, принялся заламывать рыжие от табака руки, раздулся и вознесся над всеми, посягая на место в кругу избранных, — толмач, почуяв опасность, принялся торопливо, словно оправдываясь, нашептывать на ухо Беку:

— Это тот, кто перевел на болгарский «Алису в Стране чудес».

— Замечательная книга, — сказал переводчик, сразу сдувшись, шаря по карманам в поисках сигареты. — Переносит тебя в новое измерение. Это просто необходимо. Мы живем в новом космосе.

Председатель заговорил по-болгарски, певуче и пространно. Беку никто не переводил. Человек профессорского вида, с шевелюрой, напоминавшей бледно-желтый парик, резко подался вперед.

— Скажите, правда ли, что, как я где-то читал, — на каждой фразе он присвистывал, словно ржавая машина, — Синклер Льюис рухнул под напором сэлинджеровской волны?

И пошло и поехало, здесь, как и в Киеве, Праге, Алма-Ате, — те же вопросы, более или менее предсказуемые, и его ответы, до ужаса знакомые ему к этому времени, механические, затертые, уклончивые, неискренние, боязливые. Отворилась дверь. Вошла светловолосая женщина в светлом пальто, без шляпки, немного запыхавшаяся от спешки; она излучала розоватое сияние, словно только что вышла из парной. Следом вошел секретарь, который, как показалось, своими кривыми руками заботливо раздвигает перед ней пространство. Она была представлена Беку как Вера по фамилии на «-ова», поэтесса, с которой он просил встречи. Больше никто из списка на телефонные звонки не ответил, объяснил секретарь.

— Ну разве не любезно с вашей стороны, что вы пришли? — У Бека получился самый настоящий вопрос, на который он ожидал ответа, не важно какого.

Она обратилась к толмачу по-болгарски.

— Она говорит, — сказал тот Беку, — что извиняется за опоздание.

— Но ей же только что позвонили!

В теплом смятении и радости Бек заговорил с ней напрямую, позабыв, что его могут не понять.

— Я ужасно виноват, что отвлек вас от утренних дел.

— Приятно познакомиться, — сказала она. — Я слышала о вас во Франции.

— Так вы говорите по-английски!

— Нет. Очень мало.

— Но все же *говорите*.

Из угла комнаты для нее был принесен стул. Она сняла пальто, под которым оказался такой же светлый костюм, словно каждая деталь ее одежды была частью нерушимого целого. Она села напротив Бека, положив ногу на ногу. Он заметил, что у нее красивые ноги; лицо показалось широким. Опустив веки, она одернула юбку до колен. Ему показалось, что она спешила, спешила к *нему*, и его, все еще взволнованного, это растрогало больше всего.

Он говорил с ней предельно отчетливо, поверх фруктов, боясь повредить и сломать хрупкий мостик ее английского языка.

— Вы поэтесса. В молодости я тоже писал стихи.

Она так долго молчала, что он уже не надеялся дождаться ответа. И тогда она улыбнулась и произнесла:

— Вы и теперь не стары.

— Ваши стихи. Они трудные?

— Их трудно... писать.

— Но не читать?

— Думаю, не очень.

— Хорошо. Хорошо.

Вопреки творческому кризису, Бек сохранил незыблемую веру в свою интуицию. Он никогда не сомневался, что где-то для него открыта идеальная дорога и что он изначально одарен чутьем, которое послужит путеводной нитью его судьбы. Он любил — долго ли, коротко ли, взаимно ли, безответно ли — с дюжину женщин. Но все они, теперь он осознал, лишь приближенно походили на неведомый прототип, не дотягивая до него самую малость. Его нынешнее изумление было вызвано вовсе не тем, что эта идеальная женщина наконец появилась; он всегда ждал, что рано или поздно это случится. Не ждал он того, что она явится ему здесь, в этой далекой, несчастной стране, в комнате, залитой утренним светом, когда в руке у него будет фруктовый нож, а на столе перед ним — золотистая, рассеченная точно пополам сочная груша.

Странствующие в одиночку мужчины испытывают нечто вроде романтического головокружения. Бек уже влюблялся в веснушчатую посольскую жену в Праге, в певичку с выпирающими зубами в Румынии, в холодную монголку — скульптора из Казахстана. В Третьяковской галерее он влюбился в лежачую статую, а в московском балетном училище — сразу в целый класс молоденьких балерин. Войдя в комнату, он был поражен щекочущим нос ароматом юного женского пота. Девушки шестнадцати-семнадцати лет, в пестрых трико, так усердно вращались на пуантах, что тесемки развязывались. Серьезные ученические лица венчали неосознанную дерзость тел. Зеркало от пола до потолка удваивало глубину комнаты. Бека усадили на скамью под зеркалом. Каждая девушка строго смотрела поверх его головы в зеркало, замирая на долю секунды во вращении, — величавая пауза и отрывистый поворот головы. Бек попытался вспомнить строки из Рильке[[5]](#footnote-5), передающие этот поворот и замирание: «Разве не запечатлелся рисунок, прочерченный хлестким мазком твоих черных бровей по стене твоего круженья?» В какой-то момент преподавательница, оплывшая пожилая украинка с золотыми коронками, прима тридцатых годов, встала и воскликнула нечто, переведенное Беку как «Нет, нет, руки свободны, *свободны!*» И, показывая, как это сделать, она исполнила стремительный каскад пируэтов с такой гордой непринужденностью, что все девушки, прибившиеся к стене, как серны, зааплодировали. И Бек влюбился в них за это. В каждой своей любви он порывался кого-то спасать — девушек от рабства упражнений, статую — из ледяных объятий мрамора, посольскую жену — от занудливого, притворно-серьезного супруга, певичку — от ежевечернего унижения (она не умела петь), монголку — от ее бесстрастных соплеменников. Но болгарская поэтесса предстала перед Беком совершенной, цельной, уравновешенной, самодостаточной и ни в ком не нуждалась. Он был взволнован, заинтригован и на следующий день навел о ней справки у человека с заячьим ртом — романиста, ставшего драматургом и сценаристом, который сопровождал его в Рильский монастырь.

— Она живет своим творчеством, — сказал драматург. — В этом есть что-то нездоровое.

— Но на вид она вполне здорова, — ответил Бек.

Они стояли у выбеленной церквушки. Снаружи она напоминала хибару, загон для свиней или курятник. Пять веков турки правили Болгарией, и христианские церкви, как бы пышно они ни были бы украшены изнутри, внешне смотрелись невзрачно. Крестьянка с дикими космами отворила для них дверь. Хотя в церкви уместилось бы не более тридцати богомольцев, она была поделена на три части, и каждый дюйм стен покрывали фрески восемнадцатого века. Роспись в притворе изображала Ад, где черти потрясали ятаганами. Проходя по крошечной церкви, Бек посмотрел в щели иконостаса, который отгораживал пространство, в православной архитектурной традиции символизирующее другой, потаенный мир — Рай. Он заметил ряд книг, кресло, пару старинных овальных очков. Выйдя наружу, он ощутил себя вызволенным из жутковатой тесноты детской книжки. Они стояли на склоне холма. Над ними возвышались стволы сосен в ледяной корке. Под ними раскинулся монастырь — оплот болгарского национального движения во времена турецкого ига. Последних монахов отсюда выселили в 1961 году. В горах бесцельно моросил ласковый дождик, и немецких туристов сегодня было немного. На том берегу серебристой речки, все еще вращавшей мельничное колесо, застыл силуэт белой лошади, словно брошь, приколотая к зеленому лугу.

— Я старинный ее друг, — сказал драматург. — Я беспокоюсь за нее.

— У нее хорошие стихи?

— Мне трудно судить. Они очень женские. Возможно, неглубокие.

— Отсутствие глубины тоже своего рода честность.

— Да. Она очень честна в своей работе.

— А в жизни?

— Тоже.

— Чем занимается ее муж?

Тот посмотрел на него, разомкнув губы, и коснулся его плеча — странный славянский жест, заключающий в себе некую подспудную настойчивость, жест, от которого Бек уже не шарахался.

— Но у нее нет мужа. Я же говорю, она слишком занята поэзией, чтобы выйти замуж.

— Но ее фамилия оканчивается на «-ова».

— А, понимаю. Вы заблуждаетесь. Это не имеет отношения к замужеству. Я — Петров. Моя незамужняя сестра — Петрова, как и все женщины.

— Какой же я недогадливый! Очень жаль, ведь она такая обаятельная.

— А в Америке только необаятельные не выходят замуж?

— Да. Нужно быть ужасно необаятельной, чтобы не выйти замуж.

— У нас не так. Правительство не на шутку встревожено. В Болгарии самая низкая в Европе рождаемость. Головная боль для экономистов.

Бек кивнул на монастырь:

— Слишком много монахов?

— Скорее недостаточно. Когда монахов слишком мало, в каждого из нас вселяется что-то монашеское.

Крестьянка, показавшаяся Беку пожилой, хотя на самом деле лет ей, наверное, было меньше, чем ему, проводила их до края своих владений. Она хрипло тараторила что-то на забавном сельском говоре, как сказал Петров. У нее за спиной, то прячась за юбками, то выглядывая, стоял ее ребенок, лет трех, не больше. За ним самозабвенно гонялся беленький поросенок, который, как полагается свиньям, передвигался на цыпочках, резко бросаясь из стороны в сторону. Вся эта сценка — нескрываемая радость улыбчивой крестьянки, волосы, клочьями торчащие у нее на голове, что-то в горной мгле и губчатой изъезженной грязи, скованной ночными заморозками, — вызвала у Бека ощущение чего-то безымянного, чего-то отсутствующего, что неразрывно, как лошадь с лугом, связано с образом поэтессы, с ее скуластым лицом, стройными ногами, парижской одеждой и гладкой прической. Петров, в котором Бек сквозь наслоения чужестранности почувствовал вдумчивого человека и родственную душу, словно расслышав его мысли, сказал:

— Если хотите, мы могли бы пообедать. Это нетрудно устроить.

— С ней?

— Да, она моя знакомая, она была бы рада.

— Но мне нечего ей сказать. Просто я заинтригован этим сочетанием красивой внешности и ума. Я хочу сказать, какое отношение имеет ко всему этому душа?

— Вы можете спросить об этом у нее. Завтра вечером?

— Простите, не смогу. По программе я должен идти на балет, и следующий вечер тоже занят — посольство дает коктейль в мою честь, а потом я улетаю домой.

— Домой? Так скоро?

— Для меня это не скоро. Я должен опять попытаться сесть за работу.

— Тогда выпьем где-нибудь. Завтра вечером перед балетом? Возможно? Нет?

Петров выглядел озадаченным, и Бек понял, что сам виноват, потому что его кивок, означавший «да», болгары понимают как «нет», а покачивание головой — как «да».

— Да, — сказал он. — С радостью.

Балет назывался «Серебряные туфельки». Пока Бек сидел и смотрел, на ум то и дело приходило слово «народный». Во время своей поездки он привык к подобному бегству в искусство от мрачной, удручающей реальности, в мир народного танца, народной сказки, народной песни, которое всегда подразумевало, что под расшитой крестьянской одеждой скрывается единственная ценность — народ, пролетариат.

— Вы любите сказки?

Это говорил толмач с влажной ладонью, сопровождавший его в театре.

— Обожаю, — сказал Бек с жаром и страстью, все еще находясь под впечатлением предыдущего свидания.

Толмач с тревогой посмотрел на Бека, как и после того, когда тот залпом осушил стакан бренди, и на протяжении всего спектакля нашептывал ему объяснения самоочевидных событий, происходивших на сцене. Каждую ночь принцесса надевает серебряные туфельки и, танцуя, проникает сквозь зеркало к колдуну, обладателю волшебной палочки, которую она страстно желает заполучить, ибо с ее помощью можно править миром. Танцором колдун был посредственным и раз чуть было не уронил ее, за что она метнула в него яростный взгляд. Принцесса была рыжеволосая, с высокой круглой попкой, застывшими губками и красивыми движениями «свободных» рук. Беку ужасно понравилось, что, готовясь к прыжку, она семенила к зеркалу — пустому овалу, — и тогда из-за кулис выбегала другая девушка, в таком же розовом костюме, и изображала ее отражение. А когда принцесса, надменно натянув шапку-невидимку, наконец прыгнула прямо в золотой проволочный овал, сердце Бека бросилось назад, в тот волшебный час, проведенный с поэтессой.

Хотя на сей раз она получила приглашение заранее, все выглядело так, словно ее опять позвали внезапно и она ужасно спешила. Она села между Беком и Петровым, слегка запыхавшись, но по-прежнему излучая неуловимое тепло ума и благородства.

— Вера, Вера, — сказал Петров.

— Вы слишком торопитесь, — сказал Бек.

— Нет, не слишком, — ответила она.

Петров заказал ей коньяку и продолжал обсуждать с Беком современных французских романистов.

— Выкрутасы, — говорил Петров. — Художественные выкрутасы, но все же выкрутасы, ничего общего с жизнью, слишком много словесной нервозности. Что скажете?

— Звучит как эпиграмма, — сказал Бек.

— Среди них только по отношению к двоим я не испытываю таких чувств — это Клод Симон[[6]](#footnote-6) и Сэмюэл Беккет[[7]](#footnote-7). Вы не родственники — Бек, Беккет?

— Нет.

— Натали Саррот[[8]](#footnote-8) — очень скромная. Она испытывала ко мне материнские чув­ства, — заметила Вера.

— Вы встречались?

— В Париже я слышала ее выступление. После этого подали кофе. Мне понравились ее рассуждения о... как бы это сказать?... О маленьких движениях сердца. — Она бережно отмерила щепотку пространства и улыбнулась сама себе, не замечая Бека.

— Причуды, фокусы, — сказал Петров. — Вот у Беккета я этого не чувствую — в низкой форме, хотите верьте, хотите нет, всегда есть человечное содержание.

Бек почувствовал обязанность развить тему, спросить о театре абсурда в Болгарии, об абстрактной живописи (то и другое служило мерилом «прогрессивности»; в России их не было и в помине; в Румынии — немного, в Чехословакии — в изобилии). Бек хотел ниспровергнуть Петрова. Но вместо этого он спросил ее:

— Материнские чувства?

Вера объяснила, осторожно формуя руками воздух, как бы сглаживая свои острые, угловатые слова:

— После ее выступления мы поговорили.

— По-французски?

— И по-русски.

— Она знает русский?

— Она русская по рождению.

— И каков ее русский?

— Очень чистый, но старомодный. Книжный. Когда она говорила, я чувствовала себя словно в книге, в безопасности.

— А вы не всегда чувствуете себя в безопасности?

— Не всегда.

— Вам не тяжело быть женщиной-поэтом?

— У нас есть традиция женской поэзии. У нас есть великая Елисавета Багряна[[9]](#footnote-9).

Петров подался к Беку, словно собирался укусить:

— А ваши произведения? Они испытывают влияние «новой волны» — nouvelle vague? Вы считаете себя автором антироманов?

Бек все время сидел, повернувшись к ней.

— Хотите знать, как я пишу? Да? Нет?

— Очень, да, — ответила она.

Он рассказал им. Рассказал бессовестно, голосом, удивившим его самого твердостью, уверенностью, прозрачной настойчивостью, о том, как он писал когда-то, как в романе «Путешествие налегке» он пытался показать людей, скользящих своими жизнями по поверхности вещей, заимствуя оттенки у предметов так, как предметы в натюрморте окрашивают один другой, и как потом он пытался поместить под мелодией сюжета контрмелодию образов, сцепляя образы, всплывшие на поверхность и утопившие его повествование, и как в «Избранных» он пытался выстроить из всей этой мешанины саму тему, эпическую тему, изобразив персонажи, чьи действия предопределены, на глубинном уровне, тоской, жаждой каждого вернуться, припасть к источнику своего личного образного мира. Книга скорее всего не удалась; во всяком случае, приняли ее плохо. Бек извинился за то, что рассказал все это. Его голос оставлял у него во рту картонный привкус. Он чувствовал тайное опьянение и тайные угрызения совести, поскольку ему удалось преподнести свой провал как неслыханно благородный и донкихотски сложный эксперимент, в то время как на самом деле причиной всему, как он подозревал, была обыкновенная ленность.

— Столь сентиментальная по форме проза не могла быть сочинена в Болгарии. У нас не очень счастливая история, — изрек Петров.

Впервые Петров заговорил как коммунист. Если Бека что-то и раздражало в людях по ту сторону зеркала, так это их убежденность в том, что в страданиях им нет равных, если даже во всем остальном они посредственны.

Он сказал:

— Хотите верьте, хотите нет, но и у нас она не очень счастливая.

Вера спокойно вмешалась:

— Вашими героями не движет любовь?

— Движет, еще как... Но в виде ностальгии. Мы влюбляемся, как я пытался сказать в этой книге, в женщин, напоминающих нам наш первый ландшафт. Глупая мысль. Я изучал любовь. Написал однажды эссе, посвященное оргазму... вы знаете это слово?...

Она покачала головой. Он вспомнил, что это означает «да».

— ...оргазму как совершенной памяти. Только вот загадка — что же мы вспоминаем?

Она снова покачала головой, и он заметил, что у нее серые глаза и в их глубинах — его образ (которого он не мог видеть), ищущий воспоминаний. Ее пальцы обрамляли бокал. Она сказала:

— Есть молодой французский поэт, писавший об этом. Он говорит, что мы никогда так не собираемся... не сжимаемся внутри в комок, гм... — Огорченная, она сказала что-то Петрову скороговоркой по-болгарски.

Он пожал плечами и сказал:

— Сосредоточиваем свое внимание.

— ...сосредоточиваем свое внимание, — повторила она Беку, будто слова принадлежали ей. — Я говорю нескладно, но по-французски они звучат очень точно, правильно.

Петров улыбнулся и сказал:

— Замечательная тема для разговора — любовь.

Бек ответил, подбирая слова, как будто и для него английский язык был не родным:

— И по-прежнему одна из немногих тем, над которыми имеет смысл задумываться.

— Думаю, хорошо, что это так, — сказала она.

— Вы про любовь? — спросил он взволнованно.

Она покачала головой и постучала ногтем по ножке бокала, так что Беку показалось, будто он слышит звон, и нагнулась, словно изучая содержимое, так что по всему ее телу разлилась розоватость коньяка и ожогом отпечаталась в памяти Бека — серебряный блеск ее ногтей, лоск волос, симметрия расслабленных рук на белой скатерти, все, кроме выражения лица.

Тут Петров спросил, что Бек думает о Дюрренматте[[10]](#footnote-10).

Действительность есть неизменное обеднение возможного. Хотя Бек ожидал увидеть ее опять на коктейле — позаботился, чтобы ее пригласили, — и она пришла, пробиться к ней он не мог. Он видел, как она вошла вместе с Петровым, но ему преградил путь атташе югославского посольства со своей блистательной женой-туниской; а потом, когда он протискивался к ней, ему на плечо легла стальной хваткой рука и скрипучий голос некоей американки поведал ему, что ее пятнадцатилетний племянник решил стать писателем и отчаянно нуждается в наставничестве. Только не для проформы — тут нужен настоящий совет. Бек почувствовал, что его обложили — со всех сторон его окружала Америка: голоса, тесные костюмы, разбавленные напитки, лязг посуды, блеск мишуры. Зеркало потеряло прозрачность, и он мог видеть только самого себя. В конце концов, когда официальных лиц поубавилось, ему удалось вырваться и пробраться к ней. Ее светлое пальто с кроличьим воротником было уже надето. Из бокового кармана она достала бледный томик стихов на кириллице.

— Пожалуйста, — сказала она.

На авантитуле она написала: «Г. Беку — от всей души — с плохим правописанием, но большой»... — последнее слово походило на «ласкою», но должно было быть «любовью».

— Подождите, — взмолился он, вернулся к растасканной стопке презентационных книг и, не сумев найти то, что ему хотелось, стащил из посольской библиотеки один экземпляр «Избранных» без суперобложки. Вложив книгу в ее ожидающие руки, он сказал: — Не смотрите, — потому что внутри он написал со стилистической уверенностью пьяного:

#### Дорогая Вера Главанакова! Как обидно, что мы с вами вынуждены жить по разные стороны света!

1. *Готорн Натаниел* (1804—1864) — американский писатель-романтик. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Роджер Мэлвин* — персонаж рассказа Н. Готорна «Погребение Роджера Мэлвина» (1832). [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ханука* — один из главных еврейских праздников. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Димитров Георгий* (1882—1949) — деятель болгарского коммунистического движения. Генеральный секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии (БКП) в 1948—1949 гг. После смерти Димитрова гроб с его телом был установлен в специально построенном мавзолее в Софии. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Рильке Райнер Мария* (1875—1926) — выдающийся австрийский поэт. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Симон Клод* (р. 1913) — французский писатель. Его творчество тесно связано с литературным движением «новый роман», представители которого утверждали принципы деидеологизированного искусства и ратовали за ниспровержение традиционной системы романа. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Беккет Сэмюэл* (1906—1989) — писатель, драматург. Ирландец по происхождению, писал на французском языке. Радикальный экспериментатор в области литературной формы. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Саррот Натали* (урожд. Н. И. Черняк, 1900—1999) — французская писательница, представительница «нового романа». [↑](#footnote-ref-8)
9. *Багряна Елисавета* (Белчева, 1893—1991) — известная болгарская поэтесса. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Фридрих Дюрренматт* (1921—1990) — классик швейцарской литературы, драматург, прозаик, театральный критик. [↑](#footnote-ref-10)